

МОИ ПОБУЖДЕНИЯ

Приступая к этой книжке воспоминаний и размышлений, я меньше всего думал о том, как воспримут мою личную правду об их герое те, чьим кумиром сделали его «большие СМИ», левиафаны телевидения, PR-агенты от кино, а равно идеологи от культуры. Или о том, например, что кто-то из моего поколения, с кем я бывал в дружбе, осудит меня и посчитает предателем памяти светлых юношеских дней. Еще менее способен привести меня в замешательство осиный рой кинокритиков и киноведов, который я, возможно, разворошу этой публикацией. Или самостийных киоблогеров «от черной кости» и без аккредитаций, втершихся локтями в эти почтенные гильдии.

О творчестве режиссера Алексея Балабанова говорили, писали, снимали документальные фильмы и многие из тех, что стали более близкими ему, чем я, в его творческие годы. А равно и мэтры в профессии, что готовы уподобить киноведение едва ли не познаниям в квантовой механике, с ними и несметное число ценителей кино, что через большую губу всегда готовы разделить это мнение. Но ведь и я не был ему чужим когда-то, и у меня был опыт пребывания в соседстве с его экзистенцией, и мне есть что сказать о нем. Более того, я убежден, что имею право поведать в этом своем «экспозе» нечто важное, что и составило среди прочего существо его творчества, оцениваемого знатоками как прорывное и авангардное — с небольшими экивоками в сторону паранормальности. А если уж и признавать, что он нес в своем творчестве отражение эпохи, то как тут не перекинуть в наше социально-культурное житье-бытье ряд критических проекций...

И сделаю я это не с позиций сермяжного морализаторства и традиционалистского «косномыслия», не разбрызгивая окрест ядовитую слюну осуждения, а по возможности сдержанно — хотя и без пиетета. Пусть другие пускают восторженную пену. В общем,

sine irae et studio — без гнева и пристрастия. (Ведь и сам он, Леша, перед уходом покаялся за сотворенное, тем призывая сдержанно оценивать его работы в кино, а это большое дело.) Опять же — по возможности, потому что до конца беспристрастным быть не получится. Попутно же попрошу наперед прощения и за то, что где-то буду небрежен в терминах и понятиях. Я не ученый и не киноведец, и взгляд мой небеспристрастен.

И главное — это ни в малейшей мере не будет голым критиканством или ритуальным танцем у поверженного льва отечественного киноискусства. И мне его искренне жаль, так рано ушедшего. Ведь и помню я его не Алексеем Октябриновичем, не мэтром архаусного кино, не «проводником между эпохами», а просто Лехой. Лешей Балабановым. И чем дальше, тем сочувственней, а лучше сказать, сострадательней и мое отношение к нему, в конце жизни осознавшему безмерную силу и правду рока, который его преследовал. Прозревшему в своих натужных дерзких аспирациях и заблуждениях — и словно пришедшему в гоголевский ужас от содеянного. И пытавшемуся таки найти спасение и выйти из долгого пике, в которое его бросала собственная природная метафизика и обстоятельства той чудовищной силы, которую принято называть *force majeure*. Сказавшему о себе в конце: *плохое кино снимал...*

Поэтому я и скажу о нем свое — как вижу, с колоколенки личного опыта и понимания кино как искусства. Попутно что-то расскажу и о себе, о своем мировидении — без этого просто рассказа не будет. Ведь, говоря о других, мы невольно рассказываем и о себе. *Смотрите — вот он, мой ракурс*. Еще раз: не побоюсь и осуждений со стороны кого-то из своих старых друзей и приятелей по студенческим временам: *Что же ты вздумал катить на него... и не потому ли, что он тебе и ответить уже не сможет?*

Оспарю: да — сам не сможет, но есть немалое число адептов его творчества, которым всякое посягательство на память кумира покажется прямым оскорблением, и за перчаткой дело не стало бы. И еще я должен напомнить, что моя публикация о нем («Лехин груз»), вышедшая в конце лета 2013-го в «Литературной

газете», была не первой. Первая моя критическая статья о нем и о его работах в кино вышла в «Литературной России» 31 августа 2007 года.

Тогда режиссер Балабанов был жив и процветал, почти здоров и увенчан славой, благами и почитанием поклонников. Если бы не скромный формат «ЛитРоссии», то можно было бы говорить, что той резко непримиримой статьей, дерзнув рассказать нелицеприятную правду, я бросил вызов и ему самому, и мнимостям, которые он порождает. Статья называлась «Пожалейте Леху Балабанова». Это название вполне, кстати, подошло бы и моей книжке о нем. И осыпать автора этой книжки упреками в том, что он-де пинал и пинает «мертвого льва», несправедливо.

Истолкую, в меру отпущенного мне зрения, феномен, им самим же названный в конце жизни «плохое кино режиссера Балабанова». Мне очень важно это сделать, ведь есть вещи, о которых нужно рассказать людям. Иначе многое останется необъясненным, а люди будут обмануты разглагольствованиями о мнимых сущностях. И если надо все же сказать, что среди иного прочего движителями его творчества и культа стали, с одной стороны, его тяжкий недуг, о котором умалчивают, а с другой стороны, покровительство особого рода, то так и скажу. Больной его мозг особо трепанировать не буду — но что-то в его психологии и личностной ауре постараюсь прояснить.

И сделаю это с позиции русского человека и публициста. Ведь именно таким я и был все эти долгие десятилетия, уйдя в 92-м из международной журналистики в Агентстве печати «Новости» на скудные хлеба фриланса и находя пристанище то в первом прохановском «Дне», то в «Советской России», то в «Литературной газете», когда в ней оставалось местечко протесту. В газетах и журналах литературного цикла.

Ведь не только у нас, где фигуру режиссера Балабанова сделали предметом культа, но и за границей, где его творчество обретает осанну академического толкования, он уже включен в разного рода мемы, идеологемы и общественно-культурные конструкции. «За

бугром» он вовлекается в русло традиционной русопатии, как того требует давняя доктрина «извечных патологий» Матушки России (и это стоит отдельной главы). А здесь нередко работает на раздувание «фобий» по другим адресам...

Среди прочего мне бы хотелось донести к анализу и вот какое соображение. Так уж случилось, что вопреки уверениям самого Алексея Балабанова — в том, что его режиссерское амплуа абсолютно аполитично и сам он от политики далек, — многие его фильмы прочно встроены в идейное оснащение постсоветской эпохи. Он тоном, стилем, ритмами, смыслами и пафосом вполне совпал с той плеядой творцов и пропагандистов от «русской партии», что, отрицая на корню все советское, рвала исторический континуум страны и прерывала ее естественное развитие. В порыве ли отмщения «совдепии» за жуткие ее грехи перед народом русским, личной ли корысти потакая — но с неизменными проклятьями вдогонку всем семидесяти годам советской власти и словно боясь подразделить эти десятилетия на составляющие эпохи, порою и взаимоотрицающие по сути.

Да что там, образ «благородного киллера» Данилы Багрова стал культурным манифестом «новорусского племени». А летящий с рекламки «Груза 200» в зрителя-читателя кулак с татуировкой «СССР» на маклышках и стал символом лехинового проклятья всему советскому. О сложном ведь просто в кино не расскажешь. А нужно просто — и чтоб пугало, и за нерв цепляло. С погружением «в детали», с живыми и страшными картинками. Ну, а там, в деталях, черти и сидят недреманно. И об этом я тоже постараюсь рассказать в меру понимания.

Почему — «пожалейте»? Не попытка ли это унижить ушедшего из жизни доверительным обращением к читателю? Еще раз — нет. Нет задачи унижить, есть задача рассказать. Объяснить — чтобы поняли. Кто-то сочтет, что не вполне корректно давать такое название статье, а уж тем более книжке о человеке, которого считал когда-то своим другом. Но ведь он же и сам не побоялся обнажить перед всеми свою боль, прокричав: «Я тоже хочу»... В каком-то смысле — это попытка крикнуть ему в ответ: *Я слышу тебя, Леша... и по-настоящему жалею... пытаюсь понять...*

Да ведь Лешу Балабанова и стоит пожалеть, состраданием оградив от мнимостей, поскольку и сегодня его память осеняют неправды и ложные толкования. Он был и простым, и посложнее, и лукавым, и пытливым, и надменным, и открытым — разным, а глубоко внутри — обиженным ребенком. И обижаться было за что на судьбу...

И скажу обо всем — как тот, кому хочется видеть свою страну не в пустоте духовной, не в хаосе расчеловечивания, а на пути к социальной гармонии, чтоб *и мир на земли, и благоволение во человецех*. Как человек, пытавшийся сблизить левопатриотическую идею с правой, а там и призвать в союз здоровую часть либеральной (хотя бы и с нулевым результатом). Кто и в близком по духу традиционализме примечает пороки. Кто и в либерализме не видел бы беды, когда бы в нем все шло от чистого сердца и без примеси лицемерия. Кто понимает, что наднациональное всегда берет истоки в национальном. Что мысль и чувство тем сильнее, чем ближе они к природе — и дальше от цинизма и безверия, схоластики и метафизики бетономешалок-мегаполисов.

Скажу как человек, буквально за день до смерти Алексея Балабанова в мае 2013-го бравший интервью у академика Игоря Шафаревича, одного из подвижников национальной мысли, пусть и ошибавшегося в чем-то. Было это накануне 90-летия последнего. Кто не знает — замечательного математика, посрамленного когда-то за национализм мировым научным сообществом, впрочем, оставшегося автором учебников математики, издающихся за границей и поныне. Того самого, кто Сталинскую премию за достижения в математике получил еще в двадцать с небольшим, а в 60-е ушел в социологию и русскую идею. Кто и эпоху равенства осуждал за ее грехи и беды — но и не терзал своей истории, упрощая понимание и разобщая двуногих цепкими киногошталтами, как это все же делал в суетной простоте Леша Балабанов.

И это ни в малой степени не будет воплем зависти или потрясанием кулаком плебейского морализма, далекого от понимания прорывной эстетики кинопоиска. Вовсе нет, могу сказать что-то и на

равных. В конце 80-х — начале 90-х, работая в АПН, тоже занимался документальным кино и был редактором документальных фильмов о Достоевском, Пастернаке, Шостаковиче. А Балабанов и учился на документалиста, и в игровом кино его стиль многие называют метадокументальным. Выходит, нас с ним что-то связывало не только в студенчестве и в десятилетие после него, но и в последующем — пусть и опосредованно.

На этих рубежах, когда стараниями умельцев по декультурации и кризисному менеджменту кормящего плебса моя страна в который раз уже теряет понимание добра и зла, нет никакого смысла быть излишне щепетильным и трепетно-совестливым. Играть в интеллигентское сверхблагородство и неуместно, и непродуктивно. Вот и пришло время сказать начистоту — как оно есть, как оно было и как оно того заслуживает. Без интеллигентских ужимок и многозначительных недомолвок. Экивоки в сторону. Благородная поза чего-то и стоила бы, когда бы очень многие из нас не были погружены в гнилое болото цинизма и общего раздвая в человеческих отношениях. И тот, о ком пойдет речь ниже (будь он в чем-то инструмент в чужих руках или свободный художник, мастер архаического кино, действовавший из побуждений искусства, по зову ли болезни, в башенке из слоновой кости), тоже приложил свою руку к появлению этого «чудесного феномена».

От природы он не был ни злобным, ни циничным, ни мстительным, ни тенденциозным (если говорить о творческой энергетике). Как не было в его психическом складе и агрессии — ни тайной, ни тем более открытой. На экспансию своего «я» его местами пробивало — но больше от игры, от рисовки, чем от природы. Дальше — не знаю, но в молодости у него не было ни врагов, ни явных недоброжелателей. Думаю, тот его случай с утратой передних зубов на выпускном — скорее, исключение. Напротив, людей к нему влекла открытость его нрава — на фоне резко очерченной личностной ауры. Впрочем, случались периоды, когда он словно становился каким-то

потерянным и занудным — а то и болезненно маргинальненьким до нитя. Но это вдруг взрывалось в нем помимо его воли, потом проходило.

Я говорю о первой половине его жизни — с небольшим прихватом второй, пока мы были дружны. Потом случилось что-то, что развело нас в стороны. Раз — и оборвалось, и так стало легче. Чего тяготиться-то старой дружбой, с виду еще твердой вчера — и вдруг рассыпавшейся в труху...

Это был сознательный выбор... от понимания, что мы по-разному устроены, мы с разных полюсов видим мир и вообще на разных сторонах событий. Возникло взаимное недоверие. Это было где-то на финальном тяжком вздохе перестройки, на ее последнем издыхании. Но были и те, с кем он ничуть не разошелся в экзистенции и с кем приятельствовал до последнего звонка. Таким, к примеру, был Кирилл Мазур, как и сам он, выпускник переводческого факультета нашего иняза 1981 года. Должно быть, тот был более близким ему по духу человеком, чем я. А наша дружба с определенного момента «врозь пошла», как любили сказать в поколениях задолго до нашего.

Но странное дело — осталось чувство, что я знал его до конца. До самого мая 2013 года, ставшего последним в его жизни и в который уже раз роковым для России. Долгие годы я хранил его письма, кажется, два или три — но хранил небрежно. Осталось только одно, в котором он, студент последнего курса горьковского иняза (тогда еще был город Горький), с тоской вспоминал год предшествовавший. Между нами была разница в целый курс. Меня уже в Горьком-Нижнем не было, и щенячья радость общения с друзьями в инязовской общаге сменилась суровым бытом офицерского общежития в Калининне со стенами в зеленую масляную краску. (Да... вот и этому чудному городку давно уже скрутили вывеску, ухватив название за козлиную бородачку. Теперь это снова Тверь. Мне же он почему-то помнится Калининным.)

...МНЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО...

Итак, явление в кинематографе, ныне возведенное на пьедестал и недосыгаемо отдалившее нас от того, кого я знал всегда как Леху Балабанова, мне трудно воспринимать иначе, чем сквозь призму города Горького. То есть, конечно же, можно вполне обойтись и без призмы, но мне это важно — и это не прихоть. Я совершенно не знал его в Свердловске-Екатеринбурге, откуда он был родом, дважды он бывал в Калининe, где я служил после института, с полдюжины раз помню его по Москве, никогда не встречался с ним в Ленинграде-Питере. (Что-то рассказывали о нем друзья, сохранявшие с ним приятельскую связь. Например, Женя Васильев, переквалифицировавшийся из партработника в рестораторы, — с ним я учился когда-то в одной группе. Высокорослый спортивный парень, волейболист, он жил в Питере — и ушел из жизни так же неожиданно рано, от хронических переработок и стрессов. Или, скажем, Саша Артцвенко, не терявший с Лешей дружбы. Из жизни вообще ушел раньше других из той инязовской плеяды. Все искал себя — и не находил.) И потому вся его личностная метафизика невольно связывается в сознании с этим звучным, природно-ландшафтным и обрамленным реками городом-миллионником на Волге — с Горьким — Нижним Новгородом.

Городом особенным — способным творить в своей кузнице душ и спасителей России и великих художников, и малых, и пустых фанфаронов, и честных простолюдян (очень люблю это чуть укороченное словцо, не сочтите просто ошибкой. — *Прим. авт.*), ничем не прославленных: от рабочей кости до рядовой служилой интеллигенции. Мнится мне, что эта кузница душ с неведомым древнерусским Гефестом утаена где-то глубоко внутри земли в нагорной части Нижнего, издревле задававшей масштаб и природной натуре, и человеческой. На высоком правом окском берегу — где-то в недрах земных за парком «Швейцария» или под старыми городскими кладбищами.

А в основание этого окающего вместилища страстей на пяти берегах двух рек, под самой этой вымышленной мною кузницей, дух города вмонтировал три замечательных слова: «Эх, ай-яй», «чай» (от слова «чаять» — *Я, чай, не пошла бы туда*) и «уделать». Первое — междометие, в нем заключено какое-то невероятно искреннее удивление. В других городах вы редко его услышите. Второе все хотелось в детстве связать с чаем как напитком. И третье, понятное дело, глагол — но это не то, что приходит на ум сегодня. Первые смыслы глагола устарели и сузились, и большинству его значение теперь представляется чем-то вроде «изгадить», «испортить», «избить». А раньше это слово всегда значило другое — «сделать», «поправить». Только древнему нижегородцу казалось лаконичней начинать слово с гласной. *Оставь эту вещицу, завтра уделаю...* Многие в этом городе так и любят сказать — именно в значении «сделать».

Меня он всегда потрясал, этот город. Реками и ландшафтами. Сползающим с горы Кремлем, огромными пролетарскими районами с цехами-гигантами, дальним автозаводским парком, парашютной вышкой в нем, Радиусным домом и автозаводским Дворцом культуры, Канавином и Стрелкой — соитием двух рек. Сенной площадью, трамплином, монастырскими Печерами, улицами Минина, Белинского, Варваркой, Бекетова, десятками других, и подалее — местом сахаровской ссылки в Щербинках. Конечно же, центральными нагорными ландшафтами с дворянскими особнячками, стильными вполне домами купцов и мещан — кирпичный низ, бревенчатый верх.

Когда смотришь снизу, с реки на коренной берег, на Кремль или уходящие от него старинные дома-особняки, невольно называешь его «градом». Он и есть Град на холме. Неслучайно — и не единожды — провозглашался столицей русской архитектуры. Город этот так хорош в ландшафтном смысле, что кажется, что даже и хищный и безликий урбанизм, едва ли не ставший опощлением своей собственной протоидеи (пятиэтажки), не способен его серьезно испортить.

Но чтобы это все почувствовать, чтобы воссоздать его взором памяти, нужно быть созерцателем. Был ли им Леша Балаба-

нов? Я до сих пор не уверен. Он был из иного теста. Убежден, что ему было интересней не созерцать, не любоваться и не впечатляться душевно, а рассматривать и подсматривать. Родом из другого большого города — с какой-никакой, но все же столицы Урала, что, пожалуй, посуровей Нижнего, но даже и подинамичней своим сквозняком из открытого окна в Сибирь, — Леша внутренним зрением, третьим оком своим прищуренным мерил все тутошнее свысока или поверху. Пусть даже и любя возвращаться к нему. Так мне казалось.

Было ли это его врожденным даром или семейным (как отпрыска известного киношника со Свердловской киностудии и влиятельной мамы, командовавшей институтом курортологии), на вещи он смотрел критично, сказать ближе, оцениваяще, ехидненько иногда — с прищуром. Словно готовясь воплотить это свойство свое в будущей профессии. Примериваясь к операторскому окуляру.

Нет, он не был созерцателем, он был скорее наблюдателем, любившим фрагментарное, любившим мельчить и дробить. Тогда он еще не «просек», что крупный план — всему голова. Характер имел, как и большинство из нас тогдашних, вполне беспечный, а ум аналитический, но легкий и неинтровертный, способный быстро сфокусировать, навести на резкость и тут же ее сбросить. Когда хотел — бывал и заводилой, и душой компании. Легкий, худенький, скорый — и в части юмора живой и прицельный. Однажды я писал: «Алексей Октябрьнович был хитроглаз и кикимороват — и студиозусом был неординарным. Нрава нескучного и в общем довольно подвижного, но временами становился занудой — просто каким-то метафизическим нытиком».

Леша Балабанов был городское дитя. Бесконфликтный, но охочий на подначки, отнюдь не мачо, он все же мог держать инициативу в компаниях, где ценили новомодные веяния и резвились от студенческой души. А в общем он еще тогда избегал всего тривиального и скучного, безыскусной канвы бытия. Чурался деревенского убожества, любил Америку и все прогрессивно-заграничное.

Интеллигентски проказлив, мог совершить и неприличную выходку — но опять же не со зла, а от скуки, от экзистенциальной пустоты, — до недомоганий духа было еще далеко.

Его сокурсники и ребята инязовская годом выше или ниже его всегда готовы были рассказать историю-другую в его честь — а то и в срам. Где-то бесшабашно-веселую, а где и с пощечиной общественному мнению, шокирующую.

Кажется, Тимур Кадыров любил напомнить приятелям старую байку... Все готовятся к празднику, Балабанов звонит друзьям в общагу: — Водки купили? — Купили. — Много? — Много. — Купите еще! — наставительно кричит в трубку...

Не подумайте — Лешка не напивался в стельку, но увеселяться «беленькой» всегда любил, мензуря ее мелкими дозами и продолжительно. Если вспоминать, то жизнь студенческая — это вообще все не про учебу, а больше про увеселения. Сплошная поэзия вагантов. Ведь помнится-то не зубрежка, не школярство, а беготня с друзьями в поисках впечатлений.

Да и не технический же вуз, где нужно вникать в логику процессов и формулы учить. Тут даже если не учил, то можно по ассоциации, заболтать и тему, и ремю. Лингвистика — вообще дело попугайское. Перенимай, что слышал или прочитал. Да и вымысел — дело похвальное, творческий процесс. А в педагогах больше женщины — многие по-матерински снисходительны, пусть даже и встречаются стервозины. На переводческий фемин тогда в студенты не принимали — вот уж дискрим-то, такое и помыслить сегодня невозможно.

Но если бы мне тогдашнему предложили сказать, кто из парней его окружения, включая и его самого, способен чего-то достичь (и тем более в искусствах), мой выбор пал бы на других. Да — я знал от Леши, что отец у него руководил объединением научно-популярных фильмов на Свердловской киностудии, он не скрывал своего интереса к истории кино, особенно американского, но и воображение не рисовало мне его будущности в кинематографе.

Он вовсе не был изначально великим правдолюбом, каким его теперь рисует и кондово-русская, и околкиношно-либераль-